



ПОСЛЕДНЯЯ  
НИТЬ

Дмитрий Кай  
**Последняя нить**

«Автор»

2026

**Кай Д.**

Последняя нить / Д. Кай — «Автор», 2026

Они называют это даром. На самом деле это проклятие - чувствовать каждую нить, связывающую людей, события, судьбы. Слышать чужую боль. Знать, где лежат потерянные вещи и где прячутся те, кого Хранители объявили вне закона. Джеймс Хеллсонг родился сыном Немезид - преступников, которые пропали из реальности, оставив после себя только пепел и вопрос без ответа: почему они бросили его? Десять лет он прятался, скрывая свой дар, десять лет учился не чувствовать, не привлекать внимания. Но амулет, заглушающий Поиск, нельзя носить вечно. Стоило ему снять защиту - и Хранители пришли.

© Кай Д., 2026

© Автор, 2026

# Содержание

Пролог	5
Глава 1. Пепел прошлого	9
Глава 2. Псы Вихря	16
Конец ознакомительного фрагмента.	17

# Последняя нить

## Пролог

Зал Свитков не имел окон.

Это было первое, что понимал всякий, кто сюда попадал, — понимал не разумом, а телом, потому что воздух здесь не двигался. Он стоял веками, насыщенный пылью распавшихся пергаментов, формальдегидом, которым пропитывали особо непокорные сущности, и еще чем-то — тяжелым, сладковатым, похожим на запах костного мозга. Вентиляции не существовало. В Цитадели не было ничего лишнего.

Свет тоже был лишним. Поэтому его здесь не зажигали.

Единственным источником свечения служили стены. Вернее, то, что жило внутри них. Толстые, в три обхвата, перекрытия из серого камня были пронизаны сетью тонких каналов, в которых пульсировала жидкость — слишком яркая для крови, слишком медленная для магии. Она двигалась в такт чему-то незримому, и когда ее течение замедлялось, свет тускнел, погружая помещение в такой мрак, что даже здешние Архивариусы, у которых глаза были устроены иначе, чем у людей, замирали в ожидании.

Сейчас пульсация была ровной, спокойной. Значит, Цитадель не ждала угроз.

Архивариус стоял у алтаря—кафедры в центре зала. Вокруг него амфитеатром поднимались стеллажи — не из дерева и не из металла, а из спрессованной кости, которая с годами приобрела цвет старого меда. На стеллажах лежали свитки. Тысячи свитков. Миллионы. Некоторые были такими ветхими, что рассыпались при малейшем прикосновении, но их никто не трогал — информация в Цитадели считалась вечной, даже если носитель превращался в труху.

Архивариус не смотрел на свитки. Он смотрел на пустоту перед собой, и в этой пустоте, как в тусклом зеркале, отражалась сцена, происходящая за сотни миль отсюда. Он видел фигуру в сером плаще, бегущую по крышам. Видел тени, что смыкались вокруг. Видел то, что должно было произойти через несколько мгновений.

Он ждал.

Руки Архивариуса лежали на кафедре — слишком длинные пальцы, лишенные ногтей, с едва заметными швами у основания, словно их пришивали заново не один раз. Кожа на тыльной стороне ладоней была исписана мельчайшими символами, которые менялись каждую минуту: имена, даты, координаты событий, еще не случившихся, но уже предрешенных.

Голову скрывал капюшон, сотканный из сгустка тьмы, и, если бы кто-то попытался заглянуть под него, он увидел бы лишь гладкую, бескровную поверхность — там, где полагалось быть лицу, у Архивариуса не было ничего. Ни глаз, ни рта, ни ноздрей. Только кожа, на которой иногда проступали и тут же исчезали слова, будто он сам был страницей, на которой писали, стирали и писали заново.

Говорил Архивариус не ртом. Звук исходил оттуда, где у живого существа находится горло, — низкий, ровный, без модуляций, лишенный интонаций. Это был голос механизма, фиксирующего факты. Голос, который не знал сомнений, потому что сомнение — это роскошь тех, у кого есть выбор.

У Архивариуса выбора не было. Как не было его у тех, о ком он писал.

Он начал говорить, и его слова сами ложились на пергамент, развернутый на кафедре. Перо — длинное, костяное, с наконечником из того же материала, что и стены, — двигалось самостоятельно, выводя строки мелким, каллиграфическим почерком, который не имел ничего общего с человеческим.

— Объект: Джеймс Хеллсонг.

В зеркале пустоты фигура в сером плаще споткнулась. Тени настигали.

— Статус: аннулирован.

Перо выводило буквы ровно, без нажима, без эмоций.

— Класс угрозы: нулевой. Расходный материал.

Архивариус даже не взглянул на имя. Для него это была лишь очередная строка. Бесконечный перечень тех, кто рождался с даром, чтобы умереть, выполнив свою функцию. Их было миллионы до Джеймса Хеллсонга. Будут миллионы после.

— Причина ликвидации: несоответствие ожидаемым параметрам дара.

В зеркале пустоты фигура остановилась. Развернулась лицом к теням. В руке блеснуло лезвие — слишком короткое, слишком бесполезное против того, что надвигалось. Но он все равно выставил его вперед. Глупо. Или храбро. Архивариус не делал различий между этими понятиями. Для него существовала только эффективность.

Дар Хеллсонга классифицировался как «слабый, с выраженной предрасположенностью к самопожертвованию». Это значило, что он был идеальным кандидатом для заданий с ожидаемой летальностью выше девяноста процентов. Его обучали не побеждать, а задерживать. Не выживать, а обеспечивать выживание других.

Он справился с этим лучше, чем ожидалось. Семь миссий вместо положенных трех. Восемь. Девять.

Но давеча во время плановой проверки дара сенсоры зафиксировали аномалию: параметр «эгоистический потенциал» упал ниже критической отметки. Хеллсонг перестал цепляться за жизнь. Это делало его непригодным даже для роли расходного материала — тот, кто не пытается выжить, не может эффективно отвлекать противника.

Решение было принято автоматически. Система не терпела отклонений.

— Обстоятельства гибели: направлен на зачистку Немезид класса «Смертельная угроза».

В ходе операции вступил в прямой контакт с целями. Уничтожен.

В зеркале пустоты тени сомкнулись. Лезвие блеснуло в последний раз и исчезло.

Перо замерло.

Архивариус наклонил голову, и этот жест — единственное движение, которое можно было бы назвать сомнением, если бы Архивариус был способен сомневаться, продлился не дольше удара пульса в стенах.

— Останки не обнаружены.

Стандартная формулировка. Для тех, кого разрывает на части, останки обнаруживают редко. Это не было исключением. Это не было важным.

Перо снова пришло в движение, и Архивариус продолжил тем же ровным, бесстрастным тоном, каким фиксировал тысячи смертей до этой и запишет тысячи после:

— Он умер, как и должно псу Вихря — на охоте, разорванный дичью. Его имя вычеркнули из свитков. Его кровь не оставила следа. Это единственная история, которая достойна тех, кто рождается инструментом и умирает им же.

Последняя точка легла на пергамент сухой, окончательной печатью.

Архивариус отстранился от кафедры. Перо повисло в воздухе — костяное, острое, готовое к следующему имени. Стены продолжали пульсировать, но свет их начал меркнуть: запись завершена, свиток закрыт, история окончена.

Архивариус развернулся, чтобы уйти. Его шаги — бесшумные, скользящие — не нарушали тишину зала. Он уже перебирал в памяти следующее имя, следующую утрату, следующую строку в бесконечном перечне.

Он не обернулся.

А если бы обернулся — если бы существо, у которого вместо лица была лишь гладкая кожа, на которой проступали имена мертвых, вообще было способно на такое движение, он бы увидел странность.

Свиток, только что закрытый, начал светиться.

Слабо, едва заметно — так тлеет уголь под слоем пепла, когда ветер сдувает золу. Свет исходил не от пергамента и не от чернил. Он исходил оттуда, где буквы складывались в слова, а слова — в приговор.

На полях страницы, там, где Архивариус поставил точку, чернила начали перетекать.

Это было похоже на мираж или на ошибку зрения — тонкая, едва заметная рябь, словно сама материя пергамента сопротивлялась поставленной точке. Словно кто—то — или что—то — не соглашался с окончанием истории.

Буквы дрожали. Слова распадались и складывались заново. Фраза «Останки не обнаружены» на мгновение расплылась, превратившись в нечитаемую вязь, а затем снова обрела четкость — но теперь в ней появилось то, чего не было раньше. Тень. Второй смысл. Предостережение, которое мог прочитать только тот, кто знал, куда смотреть.

Свиток молчал.

Свет в стенах угасал, погружая зал в густую, вязкую тьму. Стеллажи с костяными свитками исчезали из виду один за другим, превращаясь в смутные силуэты, в шорох ветшающих страниц, в запах времени, которое не знает срока давности.

Последним погас свет над алтарем.

И в этой полной, абсолютной тьме, где даже Архивариус, ушедший уже к следующей кафедре в следующем зале, не мог бы ничего разглядеть, свиток на мгновение вспыхнул ярче.

Свитки Хранителей делали из спрессованной кости — материала, который помнил. Каждая нить, вплетённая в пергамент, хранила отпечаток судьбы того, о ком писали. Архивариусы знали это, но не придавали значения: мёртвая кость не могла говорить. Однако в Изнанке, откуда не доходит свет Цитадели, старые сущности, помнящие времена до того, как первые свитки были спрядены, умели читать не слова, а то, что оставалось между строк. И иногда — когда нить не хотела обрываться — они могли ответить.

Достаточно ярко, чтобы на стенах проступили тени.

Не те тени, что отбрасывают стеллажи. Другие. Старые. Те, что помнили времена до Цитадели. До Хранителей. До того, как первые свитки были открыты и первые имена вписаны в бесконечный перечень утрат.

В Изнанке — пространстве, которое Хранители предпочитали не замечать, потому что не могли контролировать, — старые сущности начали шевелиться.

Они чувствовали это. Разрыв. Не в ткани мира — такие случаются каждый день, и на них давно перестали обращать внимание. Разрыв был в другом. В нити. В той самой, из которой, по легендам, были сотканы все судьбы, прежде чем Хранители пришли и перерезали их, чтобы переплести по—своему.

Кто—то разорвал нить.

Кто—то собирался сплести её заново.

Свиток погас. Тьма сомкнулась окончательно.

Но если бы в Зале Свитков остался хоть кто—то, кто умеет читать в темноте, он бы увидел, что последняя фраза, записанная Архивариусом, изменилась.

Теперь она гласила:

«Он умер, как и должно псу Вихря — на охоте, разорванный дичью. Его имя вычеркнули из свитков. Его кровь не оставила следа. Но это ещё не вся история.»

А ниже, совсем мелко, почти неразличимо, кто—то — или что—то — добавил еще одну строку. Строку, которой не было в официальном протоколе. Строку, которая не должна была существовать.

«Нить не рвется. Нить прячется. И та, кто прядет заново, уже занесла веретено.»

Впрочем, Архивариус не вернулся. Он уже перешел к следующему имени. И к следующему. И к тому, что будет после.

А свиток остался лежать на алтаре в полной темноте, и чернила на нем продолжали слабо пульсировать — в такт чему—то, что находилось далеко за пределами Цитадели.

В такт сердцу, которое еще не перестало биться.

## **Конец пролога**

## Глава 1. Пепел прошлого

Ночью дом пах иначе.

Джеймс знал это ещё до того, как научился говорить, — знал так же точно, как знал, что утром мать пахнет корицей и усталостью, а отец — железом и ветром. Днём дом был наполнен звуками: скрип половиц, голоса с улицы, шипение сковороды, смех отца, который всегда был слишком громким для такой маленькой кухни.

Ночью всё затихало. И тогда дом начинал дышать.

Сейчас Джеймс лежал в кровати, натянув одеяло до подбородка, и слушал. За окном — полная тишина. Посёлок Семь Ветров спал, прижавшись к подножию хребта, и даже собаки, обычно заливавшиеся до рассвета, сегодня притихли. В комнате было темно, только щель под дверью отливала тусклым золотом — мать оставила свет в коридоре. Она всегда оставляла, когда отец уходил на ночное дежурство.

Скрипнула половица.

Джеймс не испугался. Он уже знал этот шаг — тяжёлый, чуть вразвалку, с заминкой перед дверью. Отец всегда замирал на секунду, прежде чем войти, словно проверял, спит сын или нет. Раньше Джеймс притворялся. Сегодня он не стал.

Дверь открылась бесшумно — отец помнил, какая петля скрипит, и нажимал на створку особым образом. В проёме возник силуэт. Высокий, широкоплечий, с чуть сутуленной спиной — эту сутулость Джеймс замечал только когда отец думал, что никто не видит. Днём Элиан Хеллсонг держался прямо, как меч. Ночью он позволял себе быть просто человеком.

— Не спишь? — голос отца был тихим, но не сердитым.

— Ты тяжело ходишь.

— Это я—то тяжело? — отец притворно возмутился, но в голосе звучала улыбка. — Твоя мать говорит, что я крадусь как вор.

— Мама спит.

— Мама спит, потому что у неё чуткий сон, а ты лежишь с открытыми глазами и пугаешь отца. — Элиан перешагнул порог и опустился на край кровати. Матрас прогнулся под его весом, и Джеймс невольно скатился ближе, к теплу отцовского тела. — Опять кошмары?

Джеймс покачал головой. Кошмары были раньше — тени, которые двигались сами по себе, и голоса, которые звали его по имени, хотя вокруг никого не было. Мать говорила — возрастное, пройдёт. Отец молчал и смотрел как—то странно, словно знал больше, но не говорил.

Сейчас кошмары прошли. Осталось только ощущение, которое Джеймс не мог объяснить. Словно он слышал, как где—то далеко плачет кто—то очень маленький. Словно он знал, что на соседней улице, в доме номер семнадцать, под половицей в прихожей лежит медное кольцо, которое старуха Фарли потеряла пять лет назад. Словно всё вокруг было пронизано тонкими, невидимыми нитями, и, если прислушаться — можно было услышать, как они вибрируют.

— Я принёс тебе кое—что, — сказал отец, и в голосе его появилась та особенная нотка, которая означала «секрет».

Джеймс сел на кровати, прижав одеяло к груди. В темноте он плохо различал лицо отца, но видел руки — большие, с длинными пальцами, испещрённые тонкими шрамами. Элиан Хеллсонг был кузнецом, но шрамы на его руках были не от железа. Джеймс знал это так же точно, как знал, где лежит потерянное кольцо.

Отец протянул ладонь. На ней лежала маленькая фигурка.

— Осторожно, — предупредил Элиан, когда Джеймс потянулся. — Не сожми. Он хрупкий.

Джеймс взял фигурку кончиками пальцев. Это был кораблик. Маленький, размером с отцовский большой палец, вырезанный из дерева, которое мерцало в темноте слабым, серебристым светом. Паруса были расправлены, будто ловили ветер, а нос корабля украшала крошечная фигурка женщины с распростёртыми крыльями.

— Это... — Джеймс замер. Дерево под пальцами было тёплым, словно живым. И ему показалось на мгновение, что он слышит шум волн. — Что это?

— Это «Бегущая по волнам». — Голос отца стал серьёзным, без обычной дневной весёлости. — Её построил мой дед. Твой прадед. Он был корабелом, пока...

Он замолчал. Джеймс знал это «пока». Пока не пришли Хранители. Пока не сожгли верфи. Пока не сказали, что прадед был преступником, хотя единственным его преступлением было то, что он умел строить корабли, которые ходили без ветра. Джеймс слышал эти истории краем уха, когда взрослые думали, что он спит. Они говорили шёпотом, оглядываясь на двери. И всегда в их голосах был страх.

— Он научил меня слушать вещи, — продолжил отец. — Понимаешь, Джеймс, любая вещь помнит. Дерево помнит лес, в котором росло. Камень помнит гору, из которой его вырвали. Железо помнит кровь, которой его плавил. Если научиться слушать — они расскажут тебе всё.

— И что расскажет кораблик?

Элиан усмехнулся, и в темноте блеснули его глаза — светлые, почти прозрачные, такие же, как у Джеймса.

— Он расскажет о море. О ветре, который дует только на рассвете. О землях, где звёзды висят так низко, что можно дотянуться рукой. О свободе.

Последнее слово отец произнёс так тихо, что Джеймс едва расслышал. Но услышал. И почувствовал, как что-то ёкнуло в груди. Он посмотрел на кораблик, и дерево под его пальцами словно ожило — он почувствовал под ладонями солёные брызги, услышал крик чаек, увидел бескрайнюю синеву, уходящую за горизонт.

— Я научу тебя, — сказал отец. — Когда придёт время. Слушать вещи, слышать нити, понимать мир так, как его понимали наши предки. До того, как...

Дверь скрипнула.

Джеймс поднял голову и увидел мать. Мира стояла на пороге, придерживая рукой дверной косяк. Её лицо в полумраке казалось бледным, а пальцы, сжимавшие край халата, побелели от напряжения. Она смотрела на кораблик в руках Джеймса, и в её глазах было что-то, чего сын не смог прочесть. Страх? Гнев? Отчаяние?

— Элиан, — сказала она тихо. Голос её дрожал. — Не надо.

— Он должен знать, — отец не обернулся, но Джеймс почувствовал, как напряглась его спина.

— Ему семь лет.

— Мне было пять, когда мой отец начал учить меня.

— И где теперь твой отец?

Тишина повисла в комнате, тяжёлая, как мокрое одеяло. Джеймс смотрел то на мать, то на отца, чувствуя, как между ними натягивается что-то невидимое. Он не понимал слов, но понимал чувства — страх матери, упрямство отца, и ещё что-то, что пряталось за ними обоими. Тайна. Боль. Знание, которое они несли вдвоём и которое не могли переложить на детские плечи.

— Иди спать, Джеймс, — сказала мать, и её голос стал мягче, но в нём появилась сталь. — Завтра важный день.

— Какой день? — спросил Джеймс, хотя знал, что завтра не происходит ничего особенного. Но мать смотрела так, будто завтра должен был случиться конец света.

— Обычный день, — ответила она слишком быстро.

Отец поднялся с кровати. На секунду его рука легла на плечо Джеймса — тяжёлая, тёплая, надёжная. А потом он вышел, и Джеймс услышал их голоса в коридоре. Тихие, быстрые, злые. Слова не разобрать, но смысл он уловил без слов: мать боялась. Отец не слушал.

Джеймс сжал кораблик в кулаке. Дерево пульсировало в такт его сердцу, и он слышал сквозь стены далёкий шум прибоя.

Он не знал тогда, что это был последний раз, когда отец сидел на краю его кровати. Что через три месяца дом взорвётся, а кораблик станет единственным, что останется от прошлого. Что слова о свободе и нитях, которые можно услышать, если прислушаться, обернутся проклятием, от которого нельзя будет убежать.

Он просто лежал в темноте, сжимая в руке тепло ушедшего мира, и слушал, как дом дышит в последний раз.

Утро началось с запаха корицы.

Джеймс проснулся оттого, что кто-то гладил его по волосам. Он открыл глаза и увидел мать, сидящую на краю кровати. Она была уже одета — тёмные брюки, серая рубашка с длинным рукавом, волосы собраны в тугий узел. Таким он видел её редко. Обычно по утрам Мира ходила по дому в старой, выцветшей тунике, с распущенными волосами, пахнувшая тестом и дрожжами.

Сегодня от неё пахло по-другому. Металлом. Озоном. И ещё чем-то, что Джеймс не мог определить — острым, горьким, похожим на запах перед грозой.

— Ты уже встала? — спросил он сонно. За окном было ещё темно. — Рано же.

— Хотела посмотреть, как ты спишь, — улыбнулась Мира, но улыбка не коснулась глаз. — Знаешь, ты всегда спишь с открытым ртом. Как твой отец.

— Я не сплю с открытым ртом.

— Спишь. И храпишь.

— Не храплю!

— Храпишь. Но это мило. — Она провела рукой по его щеке, и Джеймс заметил, что пальцы у неё дрожат. — Ты такой тёплый. Всегда был тёплым. Когда тебя принесли из роддома, я боялась, что ты замёрзнешь. А ты лежал и горел, как маленькое солнышко.

Джеймс нахмурился. Мать говорила странные вещи. И голос у неё был странный — слишком спокойный, слишком размеренный, словно она читала стихи наизусть.

— Mam, ты в порядке?

— В полном. — Она наклонилась и поцеловала его в лоб. Губы у неё были холодными. — Просто... хочу, чтобы ты запомнил этот день. Запомнил, как я люблю тебя. Ладно?

— Я и так помню.

— Знаю. Ты у меня умный. — Она сжала его плечи, крепче, чем обычно. Джеймсу стало почти больно. — Если однажды мы исчезнем...

— Что значит «исчезнем»?

— Если однажды нас не станет, — продолжала Мира, не обращая внимания на его вопрос, — не ищи нас. Не пытайся узнать, что случилось. Не приходи за нами. Живи. Понимаешь? Живи, что бы ни случилось. Обещаешь?

Джеймс смотрел на мать и чувствовал, как внутри разрастается холод. Он не понимал, что происходит, но его тело понимало раньше разума — сердце забилось быстрее, ладони стали влажными, а по спине побежали мурашки. Это было то же чувство, что и во сне, когда он слышал голоса из ниоткуда. Только сейчас оно было громче. Намного громче.

— Обещаю, — сказал он, потому что мать смотрела так, что сказать «нет» было невозможно.

Улыбка на её лице стала шире, но Джеймс видел — она не рада. Она просто делает то, что должна.

— Мой хороший. — Она ещё раз поцеловала его и поднялась. — Завтрак будет через десять минут. Вставай, соня.

Она вышла, и Джеймс услышал, как в коридоре её шаги стали быстрыми, почти бегущими. Потом где-то в глубине дома стукнула дверь, и всё стихло.

Он сел на кровати, чувствуя странную пустоту внутри. Под подушкой он нащупал кораблик, который отец дал ему ночью. Дерево было холодным. Мёртвым. И шум волн, который он слышал вчера, исчез.

За завтраком отец был весел. Слишком весел. Он шутил, рассказывал истории о своих клиентах, подливал Джеймсу сок и подкладывал блины, хотя мать каждый раз качала головой. Мира почти не ела. Она сидела напротив, сжимая кружку с чаем, и смотрела в окно.

— Сегодня будет хороший день, — сказал Элиан, расправляя плечи. — Чувствуешь? Ветер переменялся.

Джеймс прислушался. Ветер за окном действительно звучал иначе — не привычный, ласковый, а резкий, срывающий листья с деревьев. И в этом ветре было что-то, отчего хотелось спрятаться под одеяло и не высовываться.

— Элиан, — тихо сказала Мира.

— Я знаю. — Отец перестал улыбаться. Его лицо стало серьёзным, почти суровым. — Я всё знаю.

Они посмотрели друг на друга. И в этом взгляде было что-то такое, от чего Джеймс перестал жевать. Словно они говорили на языке, которого он не понимал, но который чувствовал утром.

— Джеймс, — отец повернулся к нему, и его голос вдруг стал очень спокойным. — Ты должен кое-что запомнить. Что бы ни случилось сегодня, что бы ты ни увидел, что бы ты ни услышал — это не твоя вина. Ты понял?

— А что случится? — голос Джеймса прозвучал тоньше, чем ему хотелось бы.

— Ничего, — одновременно сказали отец и мать. И оба солгали.

Четыре часа спустя дом взорвался.

Взрыв он запомнил не звуком. Звук пришёл позже — оглушительный, ломающий всё внутри. Сначала была вспышка. Белая, ослепительная, она выжгла из мира все цвета, оставив только черноту и боль. А потом — тишина. Длинная, звонкая, невозможная.

А потом — голоса. Много голосов. Крики, команды, треск пламени.

Джеймс лежал на земле и не мог пошевелиться. Его уши заложило, в глазах плыли разноцветные круги, а по лицу текла тёплая, липкая жидкость. Он не знал, где находится. Не знал, что случилось. Не знал, жив он или уже умер.

Он знал только одно — дома больше нет.

Он чувствовал это так же ясно, как чувствовал потерянные вещи и чужие эмоции. Там, где минуту назад стояли стены, хранившие тепло его детства, теперь была пустота. Зияющая, холодная, бесконечная. И в этой пустоте не было ни отца, ни матери. Только пепел, который медленно оседал на землю, и запах гари, въедающийся в лёгкие.

— Нашли одного, — сказал голос где-то над ним. — Мальчик. Лет семи—восьми.

— Немезида? — спросил другой голос. Холодный, безразличный.

— Нет. Чистый. Но родители...

— Известно. Элиан и Мира Хеллсонг. Статус: Немезида класса «Смертельная угроза».

Приказ на ликвидацию подтверждён.

Джеймс попытался открыть глаза шире, но веки не слушались. Он видел только смутные силуэты — высокие, в длинных плащах, с головами, скрытыми капюшонами. От них исходил свет — холодный, голубоватый, совсем не похожий на огонь, пожиривший остатки дома.

— Что делать с мальчиком?

— Есть родственники?

— Тётя по материнской линии. Лина Восс. Проживает в Секторе—12.

— Отправить к ней. Если дар проявится — Хранилище будет знать, где его найти.

— А если не проявится?

— Значит, повезло.

Силуэты двинулись дальше, и Джеймс остался лежать в темноте, слушая, как трещит огонь и оседает пепел. Он не плакал. Слёзы пришли позже, когда его подняли чьи—то руки и понесли прочь от того, что осталось от его жизни. Но сейчас он просто лежал и смотрел на небо, затянутое дымом.

И впервые в жизни он понял, что нити, которые он всегда чувствовал, могут рваться. И когда они рвутся — это больно. Больнее, чем можно представить.

Десять лет пролетели как один долгий, серый день.

Тётя Лина оказалась женщиной, которая не любила говорить. Она дала Джеймсу комнату, еду и молчание. Иногда, когда она думала, что племянник спит, Джеймс слышал, как она разговаривает с кем—то по странному устройству, которое прятала в стене. Голос у неё тогда становился чужим — быстрым, резким, полным слов, которые Джеймс не понимал.

Он не спрашивал. За десять лет он научился не задавать вопросов. Вопросы привлекали внимание. Внимание могло привести Хранителей. А Хранители...

Джеймс помнил их голоса. Холодные, безразличные. Они говорили о его родителях как о мусоре, который нужно вымести. И он поклялся, что никогда больше не даст им повода говорить о себе.

Но дар не спрашивал разрешения.

Оно приходило приступами. Джеймс мог идти по улице и внезапно почувствовать, что у женщины в зелёном пальто болит спина, хотя она шла ровно и улыбалась. Он знал, что соседский мальчишка врёт, когда говорит, что нашёл монету, — монета лежала в кармане его куртки, и Джеймс чувствовал её тяжесть так же отчётливо, как если бы держал в руке. Он просыпался по ночам от того, что где—то далеко плакал ребёнок, и не мог заснуть, пока плач не стихал.

Лина смотрела на него с тревогой. Но ничего не говорила. Только однажды, когда Джеймсу было двенадцать и приступ случился в школе, она отвела его в сторону и прошептала:

— Не показывай это. Никому. Понял? Если они узнают — заберут.

— Кто?

— Хранители.

Она произнесла это слово так, будто плевалась ядом. Джеймс кивнул и больше никогда не позволял себе терять контроль. Он учился закрываться, ставить стены, глушить то, что рвалось наружу. Это было трудно. Это было больно. Но это работало.

А по ночам ему снились звёзды.

Он никогда не видел настоящих звёзд. В Секторе—12 небо всегда было затянуто тучами — искусственными, созданными куполом, который защищал сектор от «внешних воздействий». Но во сне Джеймс видел их яркими, холодными точками, висящими так низко, что можно было дотянуться рукой. Он стоял на палубе корабля, который пах морем и свободой, и ветер трепал его волосы. А рядом стоял отец и улыбался.

Каждое утро Джеймс просыпался с чувством потери, которое не мог объяснить.

Он не искал родителей. Он выполнил обещание, данное матери в то последнее утро. Жил. Не задавал вопросов. Не пытался узнать, что случилось на самом деле.

Но в день, когда ему исполнилось восемнадцать, Лина позвала его в свою комнату и протянула маленький кожаный мешочек.

— Это твоего отца, — сказала она. — Он оставил это мне за день до... до того, что случилось. Сказал отдать, когда ты повзрослеешь.

Джеймс развязал шнурок и высыпал содержимое на ладонь.

Амулет.

Маленький, с монету, диск из тёмного металла, покрытый письменами, которые Джеймс никогда раньше не видел. Он был тёплым на ощупь — таким же тёплым, как кораблик, который отец дал ему той ночью. И когда Джеймс сжал его в кулаке, он впервые за десять лет почувствовал тишину.

Дар замолчал.

Никаких чужих эмоций. Никаких потерянных вещей. Никаких детских криков из ниоткуда. Только он сам и его собственные мысли.

— Что это? — спросил он, и голос его дрогнул.

— Блокиратор, — ответила Лина. — Твой отец сделал его. Он заглушает Поиск. Хранители не могут тебя найти, пока он на тебе.

— Поиск?

— Они ищут тех, у кого есть дар. Тех, чья кровь... не совсем обычная. — Лина замолчала, подбирая слова. — Твои родители были Немезидами, Джеймс. Не потому, что они были плохими. А потому, что их кровь несла в себе то, что Хранители называют «угрозой». Дар передаётся по наследству. И если у тебя он есть...

— Они заберут меня.

— Сделают псом. Ищейкой. Будут использовать, пока ты не сломаешься или не умрёшь. — Лина посмотрела ему прямо в глаза. Впервые за десять лет в её взгляде было что-то кроме усталой отстранённости. Страх. — Поэтому носи этот амулет всегда. Не снимай. Ни при каких обстоятельствах. Понял?

Джеймс кивнул.

Он надел амулет на шею, спрятал под рубашку и вышел из комнаты.

В ту ночь звёзды не снились.

Он проспал двенадцать часов — без снов, без приступов, без дара. Впервые в жизни он проснулся отдохнувшим. И впервые за десять лет он почувствовал, что может дышать.

Ему было восемнадцать. Он был свободен.

Свобода длилась двенадцать минут.

Он снял амулет, чтобы помыться. Всего на несколько минут. Он надел его снова, как только вышел из душа, но было поздно.

Джеймс не слышал, как они вошли. Не видел, как окружили дом. Он просто почувствовал — внезапно, остро, как удар под дых. Чужие присутствия. Холодные, пустые, безликие. Они не были людьми — по крайней мере, не совсем. Они были инструментами. Ищейками. Такими же, каким хотели сделать его.

— Лина, — позвал он, выбегая в коридор.

Тётя стояла у окна, глядя на улицу. Её лицо было бледным, но спокойным.

— Я знала, — сказала она тихо. — Знала, что это случится. Рано или поздно.

— Я надел его обратно! Я...

— Он не мгновенный, Джеймс. Поиск работает быстрее. Как только ты снял защиту, они тебя засекли. — Она повернулась к нему, и в её глазах он увидел то, чего никогда не видел раньше. Сожаление. — Прости. Я должна была предупредить. Должна была объяснить. Но я надеялась...

Дверь взорвалась.

Джеймс не успел среагировать. Его схватили — руки, сильные, холодные, сжали плечи, прижали к стене. Он увидел лица — или то, что было вместо лиц. Гладкие маски, за которыми угадывалось нечто, не желающее быть увиденным. Их глаза светились голубым — тем же холодным светом, который он запомнил из детства.

— Джеймс Хеллсонг, — сказал один из них. Голос был безликим, лишённым интонаций. — Дар: Поиск. Класс: потенциально опасен. Приказ на изъятие подтверждён.

— Я... — начал Джеймс, но рука сжала горло, не давая говорить.

— Сопротивление нежелательно. Вы будете доставлены в Цитадель для оценки и распределения.

— Лина! — крикнул Джеймс, насколько мог.

Тётя стояла у окна, не двигаясь. Её лицо было непроницаемым. Она смотрела на него, и в её глазах не было слёз. Только холодная, тяжёлая решимость.

— Прости, — сказала она одними губами.

А потом мир взорвался светом, и Джеймс провалился в темноту.

Когда он очнулся, его везли в Цитадель. И он знал — обратной дороги нет.

## **Конец главы 1**

## Глава 2. Псы Вихря

Он очнулся от холода.

Не от того холода, который чувствуешь кожей, когда на улице зима, а от того, что проникает внутрь, в кости, в самую глубину, где прячутся воспоминания и страхи. Джеймс лежал на чём—то твёрдом, и всё его тело было чужим, не слушающимся, словно его вынули из одного снаряжения и вставили в другое, неподходящее по размеру.

Он открыл глаза.

Потолок был белым. Идеально белым, без единой трещины, без намёка на текстуру. Он простирался над ним, гладкий и бесконечный, и Джеймсу потребовалось несколько секунд, чтобы понять — это не потолок. Это свет. Свет, который шёл отовсюду и ниоткуда, заливавший помещение ровным, холодным сиянием, не дававшим тени.

— Очнулся, — сказал голос. Не тот, безликий, что говорил в доме. Другой. Спокойный, почти равнодушный. — Быстрее, чем ожидалось. Это хорошо.

Джеймс повернул голову. Шея слушалась плохо — мышцы были ватными, а каждое движение отдавалось тупой болью в висках. Рядом с ним, в двух шагах, стоял человек.

Нет, не человек.

Существо, которое имело человеческую форму, но не человеческую суть. Высокое, худое, облачённое в длинный плащ из материала, который переливался так же, как стены в его детских кошмарах — голубовато—серебристым, жидким светом. Лица Джеймс не видел — его скрывала гладкая маска, на которой не было даже прорезей для глаз. Но он знал, что существо смотрит на него. Чувствовал это так же отчётливо, как когда—то чувствовал потерянные вещи и чужие эмоции.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.